5.1973

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Опубликовано в журнале "Иностранная литература" № 5, 1973

Из рубрики "Авторы этого номера"

Произведения Ж.Сименона неоднократно переводились на русский язык. Сборники его повестей и рассказов вышли в 1960 и 1966 гг. «Иностранная литература» напечатала повести «Бедняков не убивают» (№ 8, 1964), «Поезд из Венеции» (№ 8, 1967), роман «Тюрьма» (№ 8, 1968). В русском переводе вышли также романы «Револьвер Мегрэ», «Братья Рико» и др.

Мы публикуем отрывки из его книги дневниковых записей «Когда я был старым» («Quand j'etais vieux»), вышедшей в 1970 г.

- Жорж Сименон
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
- notes
  - 1

Жорж Сименон
Когда я был старым

Дневниковые записи Жоржа Сименона, изданные в 1970 году под парадоксальным названием «Когда я был старым», делались писателем в 1959—1961 годах и первоначально не предназначались для публикации. Это сообщает раздумьям автора о событиях, происходивших в мире — в Конго, в Алжире, на Кубе, — его размышлениям о нравах буржуазной прессы, воспоминаниям о собственном детстве и юности, рассказам о том, как он работает, особый аромат искренности, откровенности. На страницы этих тетрадей Жорж Сименон заносит не отточенные формулировки, не окончательные выводы, он пишет о своих тревогах, сомнениях, о вопросах, возникающих у него перед лицом противоречий и жестокости, которые он наблюдает вокруг, перед лицом лживости, фальши, несправедливости буржуазного мира. Мы полагаем, что сегодня, когда семидесятилетний писатель объявил о решении «поставить точку» в своей литературной биографии, данная публикация обретает особый интерес.

Суббота, 25 июня 1960 г.

Четыре дня тому назад — 21-го — я заканчивал роман, сто восемьдесят какой-то по счету, который решил написать как роман занимательный. Однако в первый же день, когда я сел за стол и написал страниц девять или десять, я почувствовал, что не сумею дотянуть до конца, что не получится ничего живого.

Я был один — я всегда так пишу — в моем кабинете за закрытыми ставнями. Я походил взад-вперед по комнате; кажется, если бы меня не сдерживало уважение к человеческому труду, я разорвал бы эти страницы и, выждав несколько дней, начал бы новый роман.

Так было со мной уже раза два или три за этот год. На сей раз я даже заплакал от огорчения. Потом без особой веры в успех снова сел за машинку. Сейчас же я считаю, что написал лучший из моих романов о Мегрэ, определенно я смогу сказать это, когда начну его редактировать.

После того как я побывал на Каннском фестивале, мне

захотелось написать роман, полный солнца и нежности. Он сложился уже у меня в голове — с готовыми персонажами и атмосферой. Я написал всего три страницы этого романа. Там не участвует Мегрэ, и героям моим за тридцать. И вдруг я понял, что в «Мегрэ и старики», который вроде бы заменил тот заброшенный мною роман, я выразил ту же нежность и так же насытил его солнцем, но только персонажам здесь — от семидесяти двух до восьмидесяти пяти лет...

Ну вот, пожалуйте! Ведь я вовсе не об этом хотел здесь писать. Но начать с чего-то надо. А я вовсе не собираюсь писать мемуары или вести дневник. Может быть, мною просто владеет желание время от времени останавливать бег жизни? Нет, тоже нет.

Думаю, что на самом деле корни этого уходят в далекое прошлое, ко временам моего детства. Уже в семь-восемь лет бумага, карандаш, резинка с неудержимой силой притягивали меня, а писчебумажный магазин манил куда больше, чем любая булочная или кондитерская. Я любил самый запах бумаги. Желтые карандаши с очень жестким грифелем, какими не пользуются в школе, казались мне самыми благородными и изысканными предметами на свете.

Должно быть, к этому же времени относится и моя страсть к тетрадям — не к школьным тетрадкам, в самом формате которых есть что-то детское, а к так называемым «студенческим», изящно расчерченным, толстым, с красным обрезом, в переплете из коленкора или сурового полотна.

Лет в десять, наверно, я, наконец, купил себе первую студенческую тетрадь. И тогда (как и сейчас, сорок семь лет спустя) я понятия не имел, чем ее заполнить. На первой странице, естественно, стояло мое имя. Потом несколько стихотворений, несколько фраз, почерпнутых из книг, которые я тогда читал. Так я заполнил, должно быть, три или четыре страницы с большими пробелами.

В пятнадцать лет у меня появилась новая тетрадь, и на этот раз уже с моими собственными стихами. Максимум две страницы моих стихов.

Третья тетрадь появилась в двадцать один год. В ту пору я писал рассказы для газет. От трех до семи каждый день, чтобы заработать на жизнь. А по вечерам я раскрывал тетрадь и писал, как я говорил тогда, «для себя», иными словами: занимался «настоящей литературой». Я до сих пор помню штук двадцать из этих рассказов, которые и сейчас лежат у меня где-то в ящике, так как, написав, я перепечатывал их потом на машинке.

Кстати, о пишущей машинке: сейчас меня просто поражает,

что я, так любивший хорошую бумагу, изящно переплетенные тетради, карандаш, ручку, с шестнадцати лет пишу на машинке — это вошло у меня в привычку с тех пор, как я стал работать репортером в газете. И вошло в привычку настолько, что многие годы, даже десятки лет, я почти совсем не мог писать от руки.

В 1940 году я купил еще несколько тетрадей в Фонтене-ле-Конт, где жил во время войны. Эти тетради были совсем другими — студенческих тетрадей того формата, который так прельщал меня в детстве, уже не было. Не было и коленкоровых переплетов. Не было и красного обреза.

Тогда, в 1940 году, на первой странице я вывел тушью слово «Педигри». Потом, на следующей странице, нарисовал что-то вроде генеалогического древа семьи Сименон.

Эта тетрадь предназначалась моему сыну Марку, ибо я не рассчитывал иметь больше детей: по утверждению одного рентгенолога, жить мне оставалось не больше двух-трех лет.

Любопытно, что эту тетрадь ожидала та же участь, что и предыдущие. Я исписал некоторое количество страниц, рассказывая о своем детстве, и прежде всего о нашей семье.

Рукописные страницы превратились в книгу «Я помню».

Текст, отпечатанный на машинке, стал автобиографической книгой «Педигри».

Еще немного о тетрадях. С 1940 по 1960 год в них не прибавилось ни слова. Я даже не пытался ничего записывать. Потом вдруг, в начале этого года, я позвонил своему издателю и другу Свену Нильсену и попросил его прислать мне десяток тех знаменитых студенческих тетрадей, о которых я всегда мечтал.

Вспомнил ли я об этих тетрадях потому, что во мне снова заговорили желания юности? Отчасти это так. Я действительно мечтал о том, что буду сидеть когда-нибудь в уютном кабинете в окружении любимых вещей и писать. Так я представлял себе жизнь, работу писателя.

Однако на самом деле я не только печатал большинство своих романов на машинке (если не считать записей карандашом, которые в последние годы я ежедневно набрасываю для своих романов серии «не Мегрэ»), но вообще никогда не знал удовлетворения от процесса письма.

Разве что в ту пору, когда писал романы «на потребу», чтобы набить руку и заработать на жизнь.

А с тех пор как я попытался творить, процесс писания превратился для меня в тяжкий труд, в часы, исполненные скорее муки, чем эйфории. Чем больше я работал, тем мне было труднее, вернее даже — страшнее.

Теперь страх этот достиг такой силы, что я физически

заболеваю перед началом романа и в первое утро работы над ним.

Романы свои я писал за три-четыре дня (те — что «на потребу»).

Потом — по двенадцать в год (во времена Мегрэ).

Потом — по шесть (так было в течение двадцати лет).

Теперь я пишу по четыре в год, ибо чем больше я их пишу, тем больше они меня изнуряют. Всегда стремишься как можно больше выжать из себя...

Я не исповедуюсь. Я не стараюсь объяснить, что я собой представляю. Я не рассказываю ни свою жизнь, ни разные факты из жизни тех, кого я знал. И я вовсе не намерен излагать здесь свои идеи. Если они у меня есть, то, очевидно, они содержатся в моих романах, а тогда рано или поздно их обнаружат.

По правде говоря, у меня возникла просто физическая потребность посидеть в своем кабинете, не испытывая страха, не думая о том, что надо создать нечто новое, вдохнуть жизнь в героев. И в то же время мне хотелось писать. Но без необходимости перечитывать себя потом. Без необходимости выправлять фразы, делать их легкими, живыми.

Писать для того, чтобы писать, то есть заниматься тем, что в двенадцать лет казалось мне сутью писательской профессии. Да, по-видимому, в какой-то мере это верно. Только я ведь не писатель. Я романист. А роману неведома радость этого процесса — писать.

Словом, в пятьдесят семь лет я решил доставить себе удовольствие и время от времени писать как любитель, для себя.

Воскресенье, 10 июля 1960 г.

Вчера вечером, показывая одной английской журналистке фотографии (это помогает мне найти сюжет для разговора, дает как бы путеводную нить, которой я следую вместо того, чтобы говорить вообще о себе), я наткнулся на кипу снимков, сделанных в Африке, когда в 1932 или 1933 году я проехал из Судана в Браззавиль через все Бельгийское Конго. Разные расы, разные племена, находящиеся на разных ступенях развития. Я написал тогда несколько статей (они были опубликованы в ныне не существующем журнале «Вуаля») под названием «Час негра пробил».

Я извлек эти статьи из папок. Но хватит ли у меня мужества их перечесть? В то время весь Париж был обклеен афишами фильма «Африка взывает к вам». Это был призыв к тому, чтобы французское правительство ускорило набор в колониальные войска...

Сегодня утром радио объявило о серьезных волнениях в Конго. Черные обезоруживают и арестовывают белых офицеров. Бельгийцы бегут оттуда...

События на Кубе, в Италии, в других местах... Не говоря уж об Алжире...

Забыл сказать выше, что мои статьи 1932 года заканчивались словами: «Африка взывает к вам. Она говорит: «Убирайтесь отсюда!..»

Четверг, 14 июля 1960 г., десять часов вечера

Мне претит насилие в любой форме, претит грубая сила. Хочется выразить свое возмущение. И я возмущаюсь. Вчера я видел на экране молодых двадцатилетних бельгийцев, которые пели, поднимаясь в самолет, улетавший в Конго. Они были горды тем, что им дали оружие. Горды тем, что ехали сражаться. Но я знаю, что на самом деле это вовсе не солдаты, а мальчишки, которые шумят, чтобы заглушить страх...

Порой я дохожу до того, что спрашиваю себя, не из трусости ли я осуждаю в глубине души всякое проявление силы, и мне бывает трудно откровенно разговаривать с сыновьями на этот счет.

В результате у меня растут молодые анархисты. Джонни уже ненавидит военную форму, войну. Прав я? Или неправ?.. Уж очень хочется верить тому, что соответствует твоему темпераменту и образу мыслей.

Среда, 20 июля, после полудня

Есть произведения, которые могут быть написаны только человеком молодым. Я было думал, не потому ли, что они требуют большей затраты энергии — творческой энергии? Но потом пришел к выводу: это потому, что они нечто утверждают. С годами перестают утверждать. Начинаются вопросы. И что же, произведения становятся от этого хуже? Нет, они становятся другими.

Не оттого ли я так думаю, что достиг возраста, когда другие перестают писать романы? Быть может, мы склонны верить — притом совершенно искренне — тому, что нас утешает?

Тому, кто когда-нибудь прочтет эти строки, что кажется мне все менее и менее вероятным, — возможно, дети прочтут, скорей всего Джонни, которого сейчас очень занимает то, что я пишу и что я думаю, но у которого, наверно, это пройдет, — так вот, тому, кто прочтет эти строки, может показаться странным, что

сейчас меня занимают вещи, столь далекие от происходящих вокруг событий.

Бельгийское Конго... Куба... Алжир. Повсюду постепенное пробуждение сознания у студентов (я в восторге от этого), надвигающаяся угроза войны... Разразись война завтра — что не исключено, — и найдутся люди, которые скажут:

«В то время как готовился катаклизм, кое-кто занимался размышлениями о том...»

Да, признаюсь, размышлениями о мелочах более или менее личного характера.

Но я не одинок. Такие люди всегда были.

История творится каждый день, и важность тех или иных событий становится нам очевидна лишь позже.

22 июля 1960 г.

В свое время я провел немало вечеров в танцевальных залах и кабачках близ площади Вогезов. Это было мое первое соприкосновение с миром, отличным от того, что окружало меня в Льеже. В ту пору я по сути не знал ни деревни, ни моря. Знакомство с деревней сводилось для меня к поездкам в Амбур. Мы ездили туда в течение трех или четырех лет на несколько недель, да и то на трамвае — недаром теперь он стал пригородом. А море — я видел его всего два раза с бельгийских берегов. Словом, я был настоящим городским ребенком, привыкшим к мостовым, к тесно стоящим домам, к садикам, огороженным высокими стенами.

Только году в 24-м, по-моему, я поехал в Бенувиль, потом в Этрета и пробыл там месяца три или четыре. В 1925 году я познал жизнь моря, рыб, крабов, водорослей, и, помнится, от всего этого у меня голова пошла кругом и мне стало страшно. Это подействовало на меня опьяняюще — как крепкое вино. Главное, я обнаружил тогда, что в море идет непрекращающаяся борьба за существование и рыбы все время то защищаются, то нападают, проявляя неистребимую врожденную жестокость.

На следующий год мне захотелось познать Францию, но не из окна железнодорожного вагона. Мне захотелось — как я это делал впоследствии всегда и во всем — увидеть, так сказать, оборотную сторону медали. Поэтому отнюдь не из спортивных соображений (а в ту пору такого рода путешествия совершали только спортсмены) я решил пересечь Францию по рекам и каналам с севера на юг и с востока на запад...

Городок, деревня, увиденные с реки или с канала, выглядят иначе, чем с железной дороги. Тут открывается их подлинное лицо — лицо более древнее.

Я вернулся в Париж и вплоть до начала войны почти все время путешествовал. Зимой — в Норвегию и Лапландию, потом большое путешествие по Европе, по Африке — с востока на запад, что в ту пору было весьма сложно и трудно, поездка в Соединенные Штаты, Панаму, Эквадор, на Таити, в Новую Зеландию, Австралию, Индию и так далее. А потом еще в Россию, Турцию, Египет...

Теперь скажу то, что с самого начала мне хотелось сказать. Я вовсе не гнался за экзотикой. Ее почти нет в моих романах.

Я считаю, что где бы ты ни жил, дерево всегда есть дерево, называется ли оно багульник, фламбойян или дуб.

Экзотика существует лишь для проезжих. А я терпеть не могу туризм.

Я не искал чего-то нового и нового. Наоборот. Я всюду искал в людях общее, вечное — константы, как сказал бы ученый.

Прежде всего мне хотелось посмотреть издали, с иной точки зрения, на тот мирок, где я жил, получить возможность для сравнения, для оценки на расстоянии.

Путешествовал я за свой счет. Но поскольку я знал директоров многих газет и журналов — Пруво (который был тогда директором «Пари-суар»), Флорана Фельса («Вуаля»), Бейльби («Энтрансижан», потом «Жур»), — я перед отъездом предлагал им за весьма скромную плату написать серию из шести-восьми или двенадцати статей, что, естественно, помогало мне справиться с расходами.

Когда на прошлой неделе Конго стало гвоздем событий (ну и стиль?!) — да оно и до сих пор не сходит с повестки дня, — мне захотелось перечитать статьи, написанные в 1933 или 1934 годах, чего до сих пор со мной никогда не случалось. К своему изумлению, я прежде всего обнаружил, что писал тогда гораздо искуснее и мой стиль был более блестящим, чем сейчас; обнаружив это, я страшно обрадовался, так как на протяжении многих лет главной моей заботой было всемерно упростить стиль, сделать его более скромным, возможно более нейтральным, с тем чтобы он лучше передавал мысли моих героев.

Однако больше всего меня поразило то, что эти статьи, написанные наспех, без особых философских или политических обобщений, предвосхитили то, что произошло потом в Африке.

В воскресенье мы с моим издателем Нильсеном прикидывали, не стоит ли опубликовать эти статьи, ибо они несомненно помогут людям лучше уяснить себе сегодняшнюю ситуацию в Африке; Свен Нильсен решил публиковать. Я в конечном счете сказал «нет!».

Я романист и хочу остаться только романистом. А главное, я вовсе не хочу, чтобы придавалось какое-то значение тому, что лежит у меня в ящиках.

Суббота, 23 июля

Я всегда думал о том, что в школах надо ввести преподавание «демистификации», или «демифизации», и учить распознавать признанные лжеценности, «очевидные» лжеправды и так далее — словом, помогать бедному человеку разбираться в окружающей его груде общепринятых условностей.

Воскресенье, 31 июля

Не успели мы приехать в Лидо, как там появилось четыре журналиста.

Первый — бравый хроникер в сопровождении фотографа, пишущий обо всем (отели, вокзалы, аэродромы, полицейские участки, клиники, больницы).

Два-три банальнейших вопроса. Значит, Мегрэ отдыхает. С вами ребенок? Двое? Как их зовут? Возраст? А остальных? Как их зовут? Возраст? Благодарю вас.

Конечно же, он перепутает все имена и возрасты. Для него это не имеет никакого значения. Репортаж будет называться: «Мегрэ в Венеции».

— Вы сейчас что-нибудь пишете?

— Нет.

— Вы собираетесь писать роман о Венеции?

— Нет.

Это их шокирует — во всех странах, во всех городах. Тогда, чтобы никого не обижать, я поясняю, что могу писать лишь о тех местах, где я подолгу жил. Где я жил по нескольку лет, а не как турист, — и это правда.

Поскольку в этот момент в комнату входит моя дочь, репортер просит ее сняться со мной, а фотограф просит, чтобы она меня обняла. Очень естественно!

Второй журналист. Из крупной миланской газеты. Лет пятидесяти — шестидесяти. Человек в высшей степени светский. Попросил встретиться со мной вечером. В назначенный час явился, достал из кармана лист бумаги с уже заготовленными вопросами и пробелами, оставленными для ответов, — совсем как анкета, которую газеты рассылают в период летних отпусков.

Это не простой репортер. Он лукаво поглядывает на меня.

— Вы уже купались?

— Да.

— И сколько времени провели в море?

— Полчаса.

— Вы всегда купаетесь по полчаса?

Ну что ответить? Я отвечаю «да» — и он с серьезным видом записывает: «да».

Потом некоторое время молчит и наконец спрашивает с еще более хитрым видом:

— Предпочитаете рыбу или мясо?

— Рыбу.

— Я так и думал! — торжествующе восклицает он.

Видимо, ему это представляется действительно важным.

— Работаете по утрам? По вечерам?

— Утром.

— Давление низкое?

— Обычное.

Он все записывает, чрезвычайно довольный самим собою и мной.

Еще два-три вопроса в том же духе — я уже забыл какие, — после чего он благодарит меня и удаляется с сознанием исполненного долга.

Третий — сотрудничает в крупнейшей римской газете, где, как он мне сразу же сообщает, он занимается исключительно литературной страницей. Интеллектуал. Настоящий. Говорит только по-итальянски и является в сопровождении двадцатилетней блондинки, художницы, которая служит нам переводчицей. Сначала она повторяет мне его вопрос по-французски, но поскольку я чувствую, что ей это очень трудно, да и переводит она весьма приблизительно, мы переходим на английский язык.

Мои слабые познания в итальянском позволяют мне уразуметь, что она переводит лишь треть вопросов и четверть ответов, а потому мы с журналистом переходим в конце концов на разговор впрямую, пользуясь смесью из трех языков.

Его не интересует Мегрэ. Даррелл, Фолкнер, Хемингуэй, Сартр, молодое поколение...

Особенно волнует его молодое поколение, этот мир, который вдруг начал двигаться со стремительной быстротой, словно поезд, который так разогнали, что он грозит снести вокзал.

Он делится со мной своими тревогами. Он явился ко мне не слушать, а найти подтверждение своим опасениям.

— Вы пессимист, не так ли?

— Ничего подобного. Я прирожденный оптимист.

— Даже при виде того, что происходит?

— А что, собственно, происходит?

— Угроза атомной войны, рост преступности, сверхбумы, падение нравов...

Забавы ради я возражаю ему: доказываю, что преступность среди малолетних нисколько не увеличилась за последние сто лет, что его предки, если они были благородных кровей (а они несомненно таковыми были), уже в пятнадцать лет имели на своей совести хотя бы одного убитого, так как молодой человек обязан был утверждать себя и свою любовь с помощью дуэли.

Он убежден в том, что мир шатается, он изо всех сил старается вогнать и меня в хандру, отчего, естественно, я преисполняюсь лишь еще большего желания утвердить свой оптимизм.

— Но вас же интересуют люди!

— Не люди, а человек. И если посмотреть на его историю — не на протяжении нескольких веков, а с начала времен...

Я начинаю выдумывать, мне и в голову не приходит держаться серьезно, а он нагоняет все больше и больше мрака.

— Эта история кончится атомной катастрофой.

— Вы так думаете?.

И тут я принимаюсь с жаром говорить:

— Давайте посмотрим на оранжевых стафилококков... Они жили в мире, процветали, ибо мы не могли найти против них достаточно действенного оружия. Они ничего не опасались, не вооружались... Прекрасно! И вот однажды некий господин изобретает пенициллин, и целые поколения стафилококков полностью уничтожаются... Те, что избегли уничтожения, трансформируются, одному богу известно как, и пенициллин их уже не берет.

Изобретается новый антибиотик — стрептомицин или какой-либо другой, бактерии снова уничтожаются, и снова происходит мутация.

Ауреомицин... Дальше можно не перечислять...

Двадцать раз... даже двадцать восемь раз, по-моему...

А теперь эти канальи — оранжевые стафилококки заранее предвидят предстоящие атаки и так хорошо к ним готовятся, что новые их поколения часто совершенно не реагируют на новые антибиотики. Бактерии опережают науку!

Так неужели, — заключил я, — вы не верите в человека, который все-таки стоит на более высокой ступени развития, чем оранжевый стафилококк?

Могу поклясться, что журналист ушел от меня чрезвычайно недовольный. Кроме всего прочего, его угнетала еще и проблема шума.

Это «современное бедствие» — шум, это постоянное

раздражение нервов, которое не позволяет человеку...

Я напоминаю ему, что уже в мемуарах семнадцатого века встречаются указания на то, что парижане жаловались на шум, на движение — возле самых домов катят экипажи, щелкают кнуты, кричат продавцы и так далее.

А вспомните о почтовых станциях...

Да, я знаю, парижские врачи требуют, чтобы дома для рабочих строились с более просторными квартирами, так как они считают отсутствие уединения причиной большого числа нервных заболеваний. Семье с двумя или тремя детьми необходимо три комнаты.

А у крестьян в старину была всего одна комната, где жили они сами вместе со своими девятнадцатью или двадцатью детьми, к ней же примыкал хлев! Я привожу в качестве примера узкие улочки Неаполя, Рима, да той же самой Венеции, целые дома, где приходилось по одной комнате на семью.

Дело в том, что раньше никто не интересовался жизнью мелкого люда.

А Версаль? Это же просто улей! Каждая ячейка была занята — буквально ни одного квадратного метра не было свободного.

Впрочем, не только газеты подхватывают готовые мысли. Такое впечатление, что и психологи, и социологи знают историю только по учебникам.

Какую, интересно, статью напишет этот журналист? Наверняка в ней не будет ни слова из того, что я говорил. Возможно, правда, что в нашем диалоге на смеси из трех языков ни один, ни другой из нас не сумел уловить мысль собеседника.

Жду четвертого — он приехал сюда на две недели и уже интервьюировал меня в Канне. Человек превосходный. Мы встречаемся на пляже — он там со своими детьми, я со своими — и всякий раз откладываем серьезный разговор на потом.

Серьезный? О чем? И зачем? Он ведь знает все, что я могу ему сказать.

Только он — журналист, а я — романист. Значит, должно быть интервью.

Глядя на море, он, наверно, раздумывает о том, какой бы пооригинальнее задать мне вопрос.

Где оседают все напечатанные слова?

Прежде я отвечал: «Нигде».

И говорил все, что приходило в голову.

С тех пор, однако, я понял, что все эти слова, брошенные, как горсть конфетти, не исчезают. Они в конечном счете превращаются в нечто цельное, образуют легенду, и эта легенда, в свою очередь, опутывает того, кто ее породил.

Воскресенье, 7 августа, Эшандан

Вчера мы с женой, Джонни, Мари-Джо и молоденькая соседка, которая в то время присматривала за детьми, сели в поезд Венеция — Лозанна. Всего — пять человек. Я забронировал шесть мест в вагоне первого класса. Поезд был набит, как на карикатурах и как это бывает только в итальянских поездах. Коридоры заполнены пассажирами и багажом — чемоданами, сумками, всевозможными пакетами, стариками, детьми. Казалось, все это набросано в несколько слоев, и было совершенно невозможно протиснуться к умывальникам, занятым пассажирами и тоже забитым багажом.

В нашем купе было одно свободное место. Дети стояли в коридоре. У Мари-Джо в дороге началось расстройство желудка, и ее нужно было уложить. Но и без Мари-Джо мы все равно никому не предложили бы этого места. Меня все время мучила совесть. И в то же время я был в ярости от того, что приходится путешествовать в таких ужасных условиях.

Я уже не могу останавливаться в гостинице, где у меня нет собственной ванны или где обслуживание оставляет желать лучшего, так же как не могу зайти поесть в бистро.

Почему? В детстве у меня в комнате не было водопровода, а уборная помещалась в глубине двора. Я страдал от запаха ночных горшков и мусорных ведер. «Капитально» мы мылись только раз в неделю, по субботам, на кухне в бадье для стирки. Одна рубашка и одна пара носков на неделю.

В то время шахтеры уходили с работы, не приняв душа, с черными лицами, на которых белели лишь глаза. Они сами называли себя «черными рожами».

Сегодня у них есть душевые, а зачастую даже собственные домики.

Вспоминая, как это было вчера, я часто испытываю угрызения совести. Я спрашиваю себя, не поступаю ли я бесчестно, воспитывая своих детей в так называемой роскоши.

Может быть, один я жил бы по-другому? Я много раз делал попытки что-нибудь изменить и с возрастом делаю их все чаще и чаще. Мой образ жизни противоречит моим убеждениям и натуре. Возможно, отсюда и угрызения совести. Во всяком случае, это противоречие угнетает меня. Как и все, я успокаиваю себя тем, что в иных условиях я не мог бы работать, что я никому не причиняю зла, что в беспрестанно изменяющемся мире естественно, что...

Но это неправда. Просто другие приспосабливаются так же,

как я...

После полудня

Очевидно, это тоже связано с тем, о чем только что шла речь. После обеда я ненадолго прилег, и мне вдруг вспомнилось, как живут люди в местечке, при мысли о котором меня всегда охватывает ностальгия. Немного уже таких уголков осталось на земле. В Экваториальной Африке, в южных морях еще тридцать лет назад эти местечки именовались «прилавками». Я знаю, что потом они исчезли. Их еще можно найти в некоторых отдаленных уголках Соединенных Штатов и Канады, там они называются «факториями».

Люди, живущие где-нибудь в глухомани, когда на десять, а то и на сто километров вокруг — никого, раз в неделю, или раз в месяц, или два раза в год приезжают туда закупать необходимые вещи. Например, спички, керосин или карбид, фонари — на случай плохой погоды, мыло, рыболовные крючки или патроны, шерстяные одеяла, рабочую одежду, кожаные или резиновые сапоги, нитки, иголки...

Все это стоит в бочках, ящиках, сундуках. Свисает с потолка. Есть, конечно, и спиртное.

Необходимое. Нет вещей, которые вам приходится покупать потому, что кому-то нужно их продать. Сегодня один французский министр объявил, что каждый француз в этом году должен съесть на три килограмма помидоров больше, чем в предыдущие годы, чтобы избежать затоваривания рынка (тринадцать килограммов вместо десяти!).

Две войны, точнее — две оккупации, когда вопрос питания был почти вопросом жизни, научили меня по-настоящему ценить продукты. Сахар, например. Сахар с большой буквы. Во время последней войны, боясь, что его не будет, и волнуясь за сына (тогда у меня был только один сын), я покупал соты. И кофе пил с медом. А сколько нужно было уловок, чтобы получить несколько литров керосина, потому что на электричество надежда была плохая. Или достать карбид. Рис, муку. Ботинки на холод и грязь. Пальто из грубой шерсти или подбитое овечьей шкурой.

Вещи вновь приобрели свою подлинную ценность. И свою красоту. Красота — а какой запах! — бочонка черного мыла, например, а как прекрасно, скажем, в начале зимы с нежностью смотреть на внушительный запас дров и знать, что в доме не будет холодно.

Атмосфера «прилавков», правда городских, знакома мне еще с детства, когда я бывал у тетушки Марии, на берегу канала в Коронмезе. Я часто упоминал об этом в моих книгах, в «Педигри»,

например. Тетушка Мария снабжала матросов, чьи суденышки стояли на якоре у входа в шлюз. Итак, матросы покупали необходимые вещи, а моя тетушка должна была все это иметь, начиная с норвежской смолы и кончая крахмалом. Весь дом был битком набит тем, что может понадобиться в обиходе простолюдина.

Подлинное. Было бы неплохо дать свое определение этому слову. То, что непосредственно влияет на жизнь человека. То, от чего зависит его жизнь.

Подлинное никогда не бывает уродливым. Но едва только теряется чувство меры... Стоит посмотреть на универмаги, магазины со множествам прилавков и т.д.

Если бы у меня хватило мужества или если бы я не нес ответственности за мою семью, я хотел бы жить в хижине или домике, настоящем, как эти магазины-«прилавки»: добротная сосновая мебель, сосновые перегородки, печка, в углу — водяной насос, может быть, книжная полка...

Среда, 10 августа 1960 г.

Критики чаще всего упрекают меня за то, что я выбираю своих персонажей среди людей примитивных, неразвитых и, следовательно, не способных противостоять своим инстинктам и страстям. Но не принадлежат ли эти критики к числу тех, кто считает себя людьми развитыми лишь потому, что им удалось запомнить несколько исторических дат и получить несколько дипломов, к числу тех, кто принимает нашу кратковременную цивилизацию за нечто, установленное раз и навсегда, а нашу еще незрелую мораль — за гуманизм?

Разве биологи в большинстве своем не исходят при изучении жизни из наблюдений за простейшими организмами? И сегодня, когда врач и психолог по-новому подходят к человеку, не следует ли изучать и его на самых простейших примерах?

Кстати, я заметил — и не только заметил, но знаю по опыту, — что интеллигенты, люди образованные и высокоразвитые, подвержены воздействию своих глубинных инстинктов и страстей не менее, чем все прочие. С той лишь разницей, что они пытаются оправдать свои поступки.

Например, поведение Наполеона мало чем отличалось от поведения какого-нибудь честолюбца из провинциального городка. Все дело в масштабе, пропорциях. Суть же одна. Бальзак в своей личной жизни вел себя не менее наивно, чем самый простодушный, самый примитивный из его персонажей.

А какие вспышки гнева, какие обиды, какие мелочные расчеты были свойственны Гюго или, например, Пастеру.

Я видел, как величайшие медики занимались недостойными интригами, чтобы получить лишнюю медаль, лишний орден, кресло в Академии медицинских наук.

Греческие трагики, Шекспир и все драматурги вообще показывали страсти в чистом виде — страсти человека улицы, — наделяя ими королей, императоров и прочих великих мира сего.

Я же выбрал простого человека (правда, так было не всегда: см. «Президента», «Сына» и некоторые другие романы) прежде всего, чтобы избежать иезуитских объяснений и искусственных реакций, вызываемых в человеке культурой и образованием.

Поступки простых людей менее деланны, более непосредственны.

20 сентября 1960 г.

Вот уже тридцать лет, как я тщетно пытаюсь внушить, что преступников, как таковых, не существует.

27 октября 1960 г.

Три дня идет конгресс криминалистов в Лионе. Юристы, врачи-психиатры, судебно-медицинские эксперты, социологи, тюремные священники, полицейские, и каждый из них — знаток своего дела. Люди, обладающие в известной мере сознанием своего долга (правда, немало и проявлений мелкого тщеславия). Но уровень — на удивление средний. Каждый говорит на своем языке и еле снисходит до разговора с сидящим рядом специалистом.

Что же до преступника, являющегося, так сказать, исходной точкой всей их деятельности...

Над ним склоняются. С лупой, или со скальпелем, или с различными теориями. Его заставляют выполнять различные тесты — столь же нелепые, как и те, которые предлагают в некоторых американских штатах, прежде чем. выдать водительские права. Человек? Он никого не интересует — все эти специалисты не выходят за рамки своего класса, своей среды. Они снова склоняются над ним. И прибытие фотографа интересует их куда больше, чем непосредственный контакт с преступником.

А жаль. Я уже говорил, что такое же впечатление производит на меня то, что происходит в политике. Да и вообще во всех областях жизни.

Я не был ни анархистом, ни даже левым. И будучи бедным, я, наоборот, без всякой горечи признавал необходимость деления общества на классы.

И лишь постепенно, знакомясь ближе, а порой совсем близко,

с теми, кто возглавляет, кто направляет, кто распоряжается, кто решает и кто мыслит в рамках своей профессии, я начал испытывать страх.

Если бы существовали весы, на которых можно было бы взвешивать людские достоинства...

Я шел путем отнюдь не традиционным. И чем ближе я подходил к старости, тем больше становился «против». Я бы сказал: против почти всего.

Нетронутым остался только человек. Надеюсь, что смогу по-прежнему в него верить.

Ленивые дни, исполненные любви и родительских забот. Ходил с Джонни за грибами и на протяжении двух часов был с ним одного возраста.

Не терпится подержать в руках «Бетти» и приступить к новому роману. Мне хочется написать его совсем иначе. Уже давно мне хочется написать совсем другой роман, с других позиций, менее трагичных — слово не совсем точное, но не нахожу лучшего. А потом вдруг, в последнюю минуту — порой после первой, почти иронически написанной главы, как, например, в «Старухе», — я возвращаюсь к обычному тону. Я могу в течение двух часов или даже нескольких дней (?) смотреть на вещи иными глазами. А потом возвращаюсь к своей обычной точке зрения.

Я часто говорю себе, что наверняка изрядно надоел всем: и тем, кто меня читает, и тем, кто меня слушает, и тем, кто живет со мной, — и, возможно, поэтому я стараюсь меньше говорить, и это у меня получается.

У меня создается впечатление, что я возвращаюсь к проторенному руслу, тогда как я поклялся себе в начале второй тетради не касаться этих вопросов. Быть может, мысль моя застопорилась и бегает по кругу.

Так или иначе, но в эту паузу я познал много радостей с женой и детьми. Есть ли на свете другие радости, которые были бы столь реальны? Я все больше и больше сомневаюсь в этом, и мне не кажется — уже не кажется — невероятным, что в один прекрасный день я не смогу больше писать. Произойдет это, конечно, позже, надеюсь, много позже. Но теперь я думаю об этом без ужаса.

А пока мне не терпится засесть за очередной роман — тот, который мне хотелось бы видеть иным и который я надеюсь написать иначе.

Тьфу-тьфу!

28 октября 1960 г.

Поправки к тому, что написал вчера. Попытаюсь уточнить свою мысль. Соображения мои объясняются вовсе не тем, что я одержим политикой. По-моему, в этой тетради я уже где-то писал, что я скорее аполитичен. Просто снова, как в 36 году, как во времена испанских событий и потом, пока шла война и длился период освобождения, политика начинает захлестывать нас. И я предвижу тот момент — быть может, он уже настал? — когда Франция снова разделится на два лагеря и от каждого, особенно от писателей, потребует определения их принадлежности.

Моя вчерашняя запись о том, что у меня не было левых настроений, даже в ту пору моей жизни, когда, казалось, у меня было больше всего оснований восставать против правых, против капитализма и т.п., не совсем точна. Скорее, можно говорить о том, что я был заражен скепсисом (легким!)...

В свое время я считал, что с эволюцией интеллекта эволюционируют и душевные качества человека.

И лишь впоследствии понял, что это редко бывает, что скорее происходит обратное, что, поднимаясь по социальной лестнице, человек становится жестче и под конец руководствуется лишь своими инстинктами — часто к собственной выгоде. Не говоря уже о жажде власти, которая начинает преобладать над всем остальным.

С каким же критерием подходить к оценке людей, их веса?

Именно это я хотел сказать вчера. Но, по-моему, неудачно выразил свою мысль, да и сейчас выражаю ее не вполне удачно.

Сегодня, как и прежде, я скорее доверюсь простому человеку, наименее развитому, наименее обремененному благами, который, как говорится в Писании, ближе всего к... К чему? Трудно ответить на этот вопрос, не вступая в область морали. Но какой морали? Основанной на чем?

30 декабря

Пять часов дня. Вчера и позавчера я смотрел по телевидению хронику событий в Бельгии. И это взволновало меня куда сильнее, чем я предполагал. Я не чувствую себя ни бельгийцем, ни французом, ни американцем, ни швейцарцем — кажется, я об этом уже говорил. Бельгия — страна, где мне меньше всего хотелось бы жить, хотя, если бы спросили моего мнения (а пока такового у меня нет), это единственное место, где я желал бы «захоронить свой прах». Я говорю именно «прах», так как хочу, чтобы меня сожгли.

Вид толпы, медленно, молча текущей по улицам, между домами с закрытыми ставнями, напомнил мне забастовку, которую я видел в детстве и попытался описать в «Родословной».

И неожиданно я почувствовал настоящую близость к этому народу, искреннюю солидарность с ним (я говорю об общественном классе, который едва знаю, с которым не соприкасался и которого скорее даже боялся).

Волнуют меня, естественно, и события в Алжире. И я страдаю, чувствуя, какие вокруг этого, как и вокруг Конго, плетутся комбинации.

Однако вчера вечером, уже лежа в постели, я решил воздержаться от одного жеста, прежде всего потому, что он показался мне театральным.

В 1952 году меня заставили (это подтверждается перепиской) вступить в бельгийскую Академию. Я был там всего один раз. Воспользовавшись тем моим приездом, меня удостоили звания кавалера ордена Короны. Клянусь, я этого не ожидал.

Журналисты сочли, что я был взволнован, тогда как на самом деле я был смущен необходимостью произносить слова благодарности. В Брюсселе, во время выставки, когда я с большой неохотой согласился стать председателем жюри кинофестиваля, мне вручили другую награду, пожаловав, по-моему, чин командора — я, право же, ничего в этом не понимаю — ордена Леопольда. На этот раз я был просто в бешенстве. Ибо об этой награде мне объявили... при вручении премий фестиваля, словно желая отблагодарить меня за то, что я взял на себя такую обязанность!

Я не принадлежу ни к одному Обществу. Я никогда не был ни секретарем, ни казначеем, ни почетным председателем чего бы то ни было.

Признаюсь, я с радостью объявил бы этой Академии, к которой я принадлежу лишь номинально, свою отставку, отослал оба ордена, которые надевал лишь один раз, а заодно вернул бы и Франции орден Почетного Легиона, который мне вручили, когда я был в Нью-Йорке.

Словом, я с радостью избавился бы от этих орденов, которые даны мне людьми, не вызывающими у меня уважения и представляющими чуждый мне мир.

Еще немного — и я пошлю телеграмму в Валлон, стоящий во главе протестующего бельгийского народа, и скажу им, что я с ними.

Но в таком жесте есть что-то театральное. А мне это претит. В чем свобода? Разве не самое трудное порой — смолчать?

Я начинаю понимать страшную фразу Леона Блюма, которую он произнес в 1936 году во французской палате депутатов: «Я ненавижу вас, буржуа!»

Я знаю, встречал и до сих пор встречаю и здесь, и в Париже, и

в Канне, и в Венеции, и в Ницце — в роскошных отелях и в кабаре — тех, кого имел в виду Леон Блюм, кого я еще плохо знал в ту пору, тех, по чьей милости сражаются в Конго, в Алжире, на Кубе и в разных местах земного шара, тех, кто ждет конца бельгийского кризиса, от души надеясь, что правительство «проявит силу»...

Всего лишь на прошлой неделе у меня обедал один такой.

И мне кажется, я тоже их ненавижу.

Или, вернее, ненавидел бы, если бы считал их способными проводить тактику Макиавелли, как они похваляются, и если бы не знал — именно потому, что я так близко их наблюдаю, — что, в сущности, это глубоко несчастные люди.

Только пусть они не втягивают меня в свои группы и не увешивают своими побрякушками...

Те, что я получил, я отдал своим детям, чтобы они играли ими и презирали их. Клянусь, как бы дальше ни сложилась моя судьба, никогда больше не принимать ни одной ленты, ни одной бляхи, ни одного титула.

14 февраля 1961 г.

Я написал фразу, в которую в свое время не вкладывал никакого определенного смысла и которую сейчас мне хотелось бы выправить. Но я не знаю, как это сделать. Это фраза о том, что мы должны построить мир, который будет действительно нам соответствовать. Эта фраза не выдерживает анализа. Построить мир? Кто будет его строить? Мы? Как? Зачем? И что значит: «нам соответствовать»? Соответствовать — кому? И чем? Откуда я взял эту литературщину? И тем не менее за этими неуклюжими словами я вижу смысл.

Убили Лумумбу. И я спрашиваю себя: не приблизит ли его смерть конец того общества, которое я ненавижу? Я задавался вопросом где-то в этой тетради: существуют ли на самом деле циники, люди, достаточно сильные, чтобы быть циниками? Не доказывает ли это убийство, что они существуют?

Африканские дела затрагивают меня не больше, чем дела остального мира, и тем не менее смерть Лумумбы опечалила меня так, точно умер кто-то, кого я хорошо знал.

Понедельник, 10 апреля, после полудня

Я интересуюсь абстрактным искусством не отвлеченно, а потому, что чувствую себя причастным к нему. Всю жизнь я был гораздо ближе к живописи, чем к литературе. Начиная с

шестнадцати лет моими друзьями в Льеже были художники, ученики школы искусств или бывшие ученики — некоторые из них теперь преподают, но ни один не выбился в большие люди.

Когда мне было девятнадцать с половиной лет, я встретил одного из них в Париже. В его студии у подножия Сакре-Кёр, где мы собирались небольшой компанией почти каждый вечер. (Я вспоминаю, как один молодой человек, выходец из буржуазной семьи, пришел однажды к моему другу и попросил, чтобы тот научил его не писать, а пользоваться красками. У него было свое представление о живописи. Он собирался заняться современной живописью и зарабатывать большие деньги. Так вот, недавно я узнал, что довольно известный художник, чье имя не вызывало у меня никаких ассоциаций, — это он.)

Итак, прибыв в Париж, я проводил большую часть времени на Монпарнасе — у Фуджиты, Вламинка, Дерэна, Кислинга, и т.д.; почти все они впоследствии стали моими друзьями. Я каждую неделю посещал выставки.

Моя юность была отмечена главным образом импрессионизмом и пуантилизмом (живописью веселой, радостной, где каждое пятно света — как песня), и я охотно признаю, что это сказалось на моих романах.

Но не меньше нравились мне и фовисты... Потом наступила эпоха увлечения гитарами, спичечными коробками и пакетиками серого табака. Матисс был одним из моих богов.

Я видел жизнь глазами этих людей, или, вернее, я постигал поверхность вещей с помощью этих людей.

Позже в Ла-Рошели и еще позже в Соединенных Штатах я почти утратил контакт с этой средой. И внезапно очутился перед абстрактным искусством, которое озадачивает меня. Случается, правда, редко, что иные картины приводят меня в восторг, но должен признаться, что я их не понимаю, не верю им, начинаю дергать ноздрями, точно чувствую обман.

Если говорить о логике, то эти художники вроде бы правы. В эпоху, когда мы начинаем открывать(?) механизм мироздания — атом, гены, антиматерию и т.д., — возможно, живопись и должна интересоваться миром расщепленным.

Предположим. Но... непременно ли следует из этого, что искусство должно быть сложным в эпоху, когда слишком легким стал обман? И так же ли просто сегодня создать лубочную картинку, как произведение ташизма?

Вчера на экране своего телевизора я видел серьезные, взволнованные лица художников, и их выступления глубоко подействовали на меня.

Ну, а «новый роман», а роман без романа, о котором столько

говорят (сам я ни одного не читал), разве не является в литературе эквивалентом такой живописи?

Мне бы хотелось понять, прийти в восторг, не становиться реакционером. Ничего не получается. Меня раздирают сомнения. Я ищу обоснований.

Аналогия между моим творчеством, моей жизнью с живописью на этом вдруг обрывается. Живопись ли в том виновата или я сам?

Зачем задумываться над этим? Не проще ли продолжать свой путь, не задаваясь вопросами. Именно это я и пытаюсь сделать. Все чаще и чаще, приступая к тому или иному роману, я невольно колеблюсь. Мне очень бы не хотелось стать пустомелей. Еще больше я бы огорчился, если бы принципа ради «марал страницы».

Вламинк одной фразой и смешком уничтожал всю абстрактную живопись, но я не уверен в том, что в глубине души он не испытывал угрызений совести.

Бернар Бюффе высказывается не менее категорично, а ему всего лишь 32 года.

Я же в 58 лет куда меньше уверен в себе, меньше уверен в том, что я прав. Настолько не уверен, что, пытаясь убедить себя в своей правоте, я перебираю своих предшественников и спрашиваю себя: был ли кто-либо из них способен понять все до конца?

Речь идет не о том, чтобы следовать девизу оставаться на поверхности. Я сказал: понять. А не становиться потихоньку, сам того не замечая, чужаком в мире, где непрерывно обновляются соки жизни.

Не слишком ли честолюбиво такое желание? Возможно. Так или иначе, мне ничего не остается, как идти своей дорожкой, не слишком задаваясь вопросом, куда она ведет.

В десятилетнем возрасте, помогая служить мессу, я смотрел каждый день новыми глазами на роскошный покров алтаря — весь расшитый узорами, которые всякий раз слагались для меня в новые картины, вернее — в удивительные образы.

Хотя прошло много лет — образы эти до сих пор запечатлены на моей сетчатке. Такое случалось со мной, когда я видел потрескавшийся потолок со следами раздавленных на нем мух, или когда любовался камнями с удивительными прожилками, или просто когда стоял у пруда и вечерний ветерок морщил его поверхность, искажая отражение облаков.

Вчера вечером один знаток живописи, выступая по телевидению, заявил, что именно так он каждое утро смотрит на любимую картину в стиле модерн, которая висит над его

кроватью.

В таком случае...

А какова же в таком случае роль творчества, если речь идет лишь о том, чтобы дать зрителю или читателю возможность чем-то отвлечься?

Среда, 18-го

Я спрашиваю себя, не является ли сочувствие (гуманное, как принято у нас теперь говорить, кстати и некстати), сменившее сочувствие религиозное, которое родилось вместе с католицизмом, источником нервного стресса и травмы, как для того, кто его испытывает, так и для того, кто является его объектом?

Сострадание религиозное признавало зло, боль, несчастье неотъемлемой частью жизни, и долг христианина заключался лишь в том, чтобы их «облегчать».

Современный же человек считает себя обязанным их «искоренять». Я, кстати, безусловно так считаю. При этом я исхожу скорее из соображений медицины, чем философии.

От журналистов, к примеру, требуют, чтобы они «пускали кровь». Будь то газета или журнал, радио, телевидение, кинохроника — в ход идут все методы для того, чтобы читатель или зритель был втянут в действие, почувствовал себя в шкуре жертвы.

При этом в Европе — да и вообще в большинстве развитых стран — поток информации не оставляет в стороне ни одного человека, пусть даже он живет в глухой деревне, и поток этот захлестывает женщин и детей ничуть не меньше, чем мужчин.

Вот grosso modo[1] хроника событий последних дней — если я что-то и опустил, то ненамеренно.

Человек в космосе. Всеобщее ликование, хотя уже начинают поговаривать о связанных с этим военных возможностях и о жизненной необходимости для нашей планеты в более или менее отдаленном будущем колонизировать другие планеты, чтобы разгрузиться от избытка населения, которое будет невозможно прокормить.

Бомбардировка Кубы, и вчера — высадка на остров. Вся страна хоронит погибших при бомбардировке. На крышах — дежурные противовоздушной обороны. Резкое ухудшение отношений между Востоком и Западом, и возможность распространения конфликта на весь мир.

Процесс Эйхмана. Извлечены на свет фотографии и фильмы о фашистских зверствах. Трижды в день вы видите груды обнаженных трупов, детей, идущих в газовые камеры,

скелетоподобных узников концлагерей.

Во всех деталях, естественно, подаются катастрофы, происшедшие за воскресенье и в течение недели. Вы видите, как юные новобрачные выезжают в свадебную поездку на автомобиле и опрокидываются под откос железнодорожной насыпи... Вы видите семь юношей в машине, которая налетает на дерево и разбивается в лепешку... Не спокойно в Конго, доходят слухи об имевших там место случаях каннибализма.

Начались события в Анголе. Серия убийств — резня и расстрелы. Пытки.

Вам рассказывают о тех, кто погиб за неделю. Женщина утонула в реке, пытаясь спасти своего ребенка. Сумасшедшая повесила свою маленькую дочку на кладбище Пер-Лашез, чтобы она не досталась мачехе...

Взрывы пластиковых бомб в Париже, в провинции, в Алжире.

Нападения бандитов, вооруженных автоматами, в 18-м округе Парижа и в разных других местах...

Де Голль в одной из своих речей заявляет примерно следующее:

— Во время военных действий в Алжире погибало 70 человек за день. Сейчас погибает не больше 8—10...

Ученые обращаются с тревожным призывом (а таких призывов бывает, по крайней мере, один в неделю) прекратить атомные испытания, иначе миру придет конец.

Другие с помощью цифр доказывают, что в 2020 году людей на земле будет столько, что они смогут лишь стоять, да и то касаясь друг друга.

Я уже не говорю о событиях, скажем, предшествовавшей недели, которые продолжают жить в газетах.

Вот врач объявил о том, что найдено новое средство лечения рака. И в результате все больные раком, как и все те, кто считает, что им грозит рак, боятся умереть, не дожив до той минуты, когда лекарство будет испытано.

И так далее и тому подобное. Взволнованные голоса, лица с блуждающими взглядами или искаженные страданием — все муки мира по нескольку раз на день врываются к вам в дом; сборы пожертвований для беженцев, для больных полиомиелитом или ангиной...

Один врач рассказал мне такой случай: однажды к нему явился пациент, человек неграмотный, работавший на лесопилке, с оторванной рукой; в таком состоянии он прошагал два километра. Известно, правда, что чем развитее человек, тем больше он страдает — не только физически, но и от страха. Зубной врач, например, — самый тяжелый клиент для другого

зубного врача, вообще врач — для другого врача.

Прежде крестьянин и крестьянка знали, что из десяти—двенадцати детей они потеряют добрую половину в малолетстве, и смирялись с этой ожидавшей их участью. Смерть, болезни, голод, холод, нищета были, так сказать, составной и неотъемлемой частью их повседневного существования.

Все слои населения эволюционировали. Все стали более подвержены эмоциям.

Каждый страдает не только от своих бед, но и от бед всего мира. Каждый боится за себя и за всех людей на земле.

Пожалуй, даже тревога за будущее рода человеческого влияет на людей куда больше, чем собственные невзгоды.

(То же относится и к радости. Среди толпы, заполнившей московские улицы, было куда больше людей, радовавшихся победе в космосе, чем какому-то событию, касавшемуся лично их.)

И все это сочетается, накапливается, наслаивается в жизни каждого из нас.

В мире не хватает приютов для душевнобольных, и болезнь эта становится фактором скорее моральным, чем физическим.

Такое отношение человека к своим ближним, к своей участи и к их участи, быть может, неотделимо от эволюции.

Или же это всего лишь мода, которая пройдет, как прошел романтизм?

Не вернемся ли мы к циничному признанию закона джунглей и того, что выглядит как биологический закон?

Это очень меня смущает. Чувства склоняют меня в сторону сочувствия. Разум же порой тянет в противоположную сторону, и я не уверен в том, что нечто подобное не происходит со многими людьми, возможно, это одна из существенных причин, вызывающих неуравновешенность. Кажется, я говорил уже, что у мира нечиста совесть и вместо того, чтобы успокоить людей, им ежедневно подбрасывают сведения, вызывающие еще большие угрызения совести.

А вдруг фашисты не навсегда сгинули с лица земли и кто знает, не возродится ли Рим?

3 июля

Воскресенье — день велогонки «Тур де Франс». Вчера прочел книгу д'Астье-де-ла-Вижери «Семь раз по семь дней». Какое счастье, что я не прочитал ее до того, как написал «Поезд». Хотя это не роман. В жизни д'Астье интересуется больше политикой.

Однако я обнаружил, что, так же как это происходит в «Поезде», д'Астье встретил крах Франции со своеобразным

облегчением. Точно избавившись от тяжкого гнета жизни, к которой он утратил всякий вкус, он вдруг обнаружил новую реальность — и для себя, и для всего, что происходило вокруг.

Как и герой моего «Поезда», наверно как и все, он чувствует биение пульса окружающей жизни тем острее, чем труднее или трагичнее переживаемый момент.

Из этой очень простой и довольно банальной мысли родилась, так сказать, атмосфера моего романа.

Мне очень понравилась книга. Непременно повидаю д'Астье, который тоже выразил желание встретиться со мной. Мы на многое глядим одинаково. И у нас была одинаковая реакция, когда после окончания войны мы обнаружили, что наша надежда, наша уверенность в том, что все переменится, не оправдалась и мир вновь погрузился в привычный эгоизм.

Прочитав эту книгу, я лишний раз убедился, как опасно романисту читать. Прочти я ее полгода назад, я бы, пожалуй, не написал «Поезда» или написал бы его совсем иначе, из опасений идти по проторенным тропам.

Книги, правда, совсем разные: в одной говорится о человеке заурядном, посредственном, с которым почти ничего не происходит и который просто плывет по течению, а в другой — о человеке действия, одном из организаторов движения Сопротивления.

Самое любопытное, что в конечном счете они недалеко отстоят друг от друга.

3 июля

Вчера умер Хемингуэй. По-моему, он был болен и решил покончить с собой. Я потрясен. Я никогда с ним не встречался. И довольно мало его читал. Но тем не менее я чувствую, что он принадлежит к числу тех, с кем меня связывают какие-то узы.

У меня есть от него один любопытный сувенир. Когда я поселился в Лейквилле, мой адвокат был и душеприказчиком первой или второй жены Хемингуэя. Он дал мне один из моих романов, датированный 1934 годом. На первой странице Хемингуэй расписался и написал свой адрес. В это же время и я познакомился с его творчеством.

Тот же день, 3 часа

Среди глупостей, которые пишут в газетах по поводу самоубийства (вероятного) Хемингуэя, меня поражает одна деталь. Почти все считают, что такой конец был неизбежен. При его темпераменте, Хемингуэй, видимо, именно так должен был

отреагировать на угрозу медленного умирания, прогрессирующего творческого бесплодия.

Но вот меньше года тому назад умер другой писатель — Блез Сандрар, характер и жизнь которого довольно схожи с характером и жизнью Хемингуэя. Сандрар тоже немало поколесил по свету в поисках приключений, воспевал в своих романах грубые радости и благородство бесстрашного мужчины.

Тем не менее он выбрал другое решение. Он не только не покончил с собой — он прожил многие годы, больной, парализованный, ожесточенно борясь с болезнью, и, говорят (?), отказывался от всех лекарств, которые могли бы утишить его страдания, с тем чтобы до конца иметь ясную голову. Я верю, что это так. Это очень на него похоже, потому что его — его я хорошо знал.

Сегодня я много думаю об этих двух людях, проживших одинаковую жизнь и по-разному кончивших ее.

Это задача для психологов. Данный человек, с данным характером, в данных обстоятельствах не всегда действует согласно какой-то определенной логике.

Иначе существовала бы логика Хемингуэя и логика Сандрара, применимая к обоим случаям.

И никто не мог бы сказать, какое из двух решений более оправданно...

Воскресенье, после полудня, 24 сентября, 1961 г.

Через несколько месяцев мне исполнится пятьдесят девять, почти шестьдесят. Я чувствую себя в отличной форме, физически — с тех пор, как снова стал играть в гольф, — и интеллектуально, если в этом плане я вообще когда-либо был в форме (?).

Мегрэ объявил, что через три года выходит в отставку — ему пятьдесят два года, а комиссар полиции автоматически выходит в отставку в пятьдесят пять лет, — вот и у меня тоже возникает желание выйти в отставку.

Конечно, речь идет не о том, чтобы бросить работать, бросить писать. Ведь пишу я уже больше сорока лет. Вначале, когда я строчил романы на потребу публике, мне приходилось делать по 80 страниц в день. Позже я писал и следуя призванию профессионала, и из любви к творчеству. А потом, в общем-то, — для себя, потому что уже не мог не писать. Об этом я не раз говорил.

Естественно, всей работой управляет Д., но дело это все равно давит на нашу жизнь, на наше времяпрепровождение, на наши выезды, приезды и т.д. Я частенько говорю себе, что уже

достиг того возраста, когда хорошо поработавший человек имеет, наконец, право пожить для себя, по собственному вкусу и разумению...

И тогда у меня действительно возникает более или менее оформленное желание отойти от всех дел. Мне хотелось бы, например, жить у себя в деревне, разводить яблони, сливы, подрезать кустарник, держать кур и т.д. Когда-то у меня все это было. Не довольно скоро надоело. Вполне возможно, что и на этот раз мне все это скоро надоест... Мне бы хотелось... хотелось бы бежать от предприятия, именуемого «Сименон», от почты, от всей этой эксплуатации моего труда. И я не могу.

Мы много поработали. Сначала я, потом моя жена — особенно она, — чтобы избежать эксплуатации автора бандой издателей. И результат: все решается здесь — переводы, передачи по радио, фильмы, репортажи в журналах, телевидение... Без конца нужно отвечать на письма... И нигде в другом месте этого делать нельзя. Это означало бы сдаться в той борьбе, которую мы выиграли, так как единственный выход из положения — либо нанять какого-то агента, который все испортит, либо передать авторские права издателям...

Я пытаюсь проанализировать свою мысль и обнаруживаю, что она раздваивается: то, что я сказал, — абсолютно верно. Но, пожалуй, не в этом главная проблема. Когда я говорю — улыбаясь, не волнуйтесь, дети мои, — что хочу отойти от дел, я ведь думаю и о другом аспекте моей профессиональной жизни. Откровенно говоря, я не только писатель — пожалуй, не столько писатель, сколько своего рода «звезда».

В журналах и газетах говорится прежде всего об этой «звезде», а вовсе не о содержании моих книг. Если бы я не написал около двухсот произведений, если бы не было этого спортивного рекорда, я наверняка остался бы в тени.

Мне это надоело? Конечно, в какой-то мере, как и писать в определенном, навязанном мне ритме, который, однако, стал уже моим ритмом.

Мне хотелось бы жить в скромном доме и, поработав в саду, написать от руки несколько страничек, не думая о том, станет это романом или нет.

А вернее, вот уже много лет, как мне хотелось бы написать этакий длинный роман без конца и начала... Но я никогда его не напишу...

В глубине души, в самой глубине, я спрашиваю себя: а быть может, истина состоит в том, что я потихоньку перестаю верить в свое творчество?

Возможно, когда-нибудь я разорву эти странички. Но мне

хотелось бы, чтобы мои дети прочли их, потому что тогда они мне простят дурное настроение, которое вообще-то несвойственно мне, и срывы, за которые мне потом бывает стыдно. Конечно же, глупо в моем возрасте, будучи зрелым человеком, разыгрывать из себя разочарованного писателя и грозить все послать к черту?! Отойти от работы! Но я никогда этого не сделаю — вернее, надеюсь, что не сделаю, разве что меня принудит к этому какая-нибудь серьезная болезнь. Сознавая это, я все же время от времени ворчу один в своем углу — совсем как Мегрэ — и, случается, мечтаю о том, чтобы жить, как он, в маленьком домике в Мен-сюр-Луар, мечтаю иметь свою клубнику, свой яблоневый сад, чтобы куры бродили по кучам навоза, а я сидел бы с удочкой и удил рыбу...

■

Из рубрики "Авторы этого номера"

ЖОРЖ СИМЕНОН — GEORGES SIMENON (род. в 1903 г.).

Известный французский писатель, автор большого количества детективных романов, повестей, рассказов, а также ряда произведений социально-психологического плана, снискавших широкую популярность во многих странах мира. В книгах Сименона читателей привлекают реализм и достоверность в изображении жизни простых людей Франции, глубокое проникновение в их психологию, мастерство остросюжетного повествования.

Произведения Ж.Сименона неоднократно переводились на русский язык. Сборники его повестей и рассказов вышли в 1960 и 1966 гг. «Иностранная литература» напечатала повести «Бедняков не убивают» (№ 8, 1964), «Поезд из Венеции» (№ 8, 1967), роман «Тюрьма» (№ 8, 1968). В русском переводе вышли также романы «Револьвер Мегрэ», «Братья Рико» и др.

Мы публикуем отрывки из его книги дневниковых записей «Когда я был старым» («Quand j'etais vieux»), вышедшей в 1970 г.

■

notes

Примечания

1

Приблизительная *(итал.)*.